

> МАГИСТРАЛЪ >



ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

# Рассказ о семи повешенных



Москва  
2023

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
А65

Художественное оформление серии  
*Натальи Портяной*

**Андреев, Леонид Николаевич.**

А65      Рассказ о семи повешенных / Леонид Андреев. —  
Москва : Эксмо, 2023. — 384 с. — (Магистраль. Главный  
тренд).

ISBN 978-5-04-181198-3

Леонид Андреев — один из самых ярких писателей Серебряного века. В юности страдал от безденежья и даже голодал. А всё, что происходит с писателями, так или иначе отражается в их творчестве. Андреев — как Лавкрафт. Только без Ктулху. Ужасных персонажей с успехом заменяют... Кто бы вы думали? Да, сами люди, которые бывают страшнее любых монстров.

В сборник вошли произведения, в которых человек оказывается заложником ситуации, судьбы. Тиски сжимаются, заставляя героев страдать от ненависти, гнева, беспомощности. На весах жизнь и смерть, рассудок слабеет, а из глубин сознания поднимаются ужасные, неприглядные вещи. Тьма сгущается — и либо поглотит человека, либо даст ему выход на новую ступень осознания. Но справится ли с этим «обновлением» человеческий разум? Книга рекомендована всем, кто увлекается психологией личности и сопереживает героям.

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-181198-3

© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2023

# МОЛЧАНИЕ

## 1

В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к о. Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала:

— Отец, пойдём к Верочке!

Не поворачивая головы, о. Игнатий поверх очков исподлобья взглянул на попадьё и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван.

— Какие вы оба с ней... безжалостные! — выговорила она медленно, с сильным ударением на последних слогах, и доброе, пухлое лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди — муж ее и дочь.

О. Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании.

— Ну, пойдём! — сказал он.

Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим, робким голосом:

— Только не брани ее, отец! Ты знаешь, какая она...

Комната Веры находилась в мезонине, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми ша-

гами о. Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой.

— Чего это вы? — спросила Вера, поднимая одну обнаженную руку к глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него — такая она была белая, прозрачная и холодная.

— Верочка... — начала мать, но всхлипнула и умолкла.

— Вера! — сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твердый голос. — Вера, скажи нам, что с тобою?

Вера молчала.

— Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия? Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоем горе, и, поверь мне, человеку старому и опытному, тебе будет легче. Да и нам. Посмотри на старуху мать, как она страдает...

— Верочка!..

— И мне... — сухой голос дрогнул, точно в нем что переломилось, — и мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе... а какое? И я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть?

Вера молчала. О. Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал:

— Против моего желания поехала ты в Петербург — разве я проклял тебя, ослушницу? Или денег тебе не давал? Или, скажешь, не ласков был я? Ну, что же молчишь? Вот он, Петербург-то твой!

О. Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное неведомых опасностей и чуждых, равнодушных людей. И там, одинокая, слабая, была его Вера, и там погубили ее. Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе о. Игнатия и гнев против дочери, которая молчит, упорно молчит.

— Петербург здесь ни при чем, — угрюмо сказала Вера и закрыла глаза. — А со мной ничего. Идите-ка лучше спать, поздно.

— Верочка! — простонала мать. — Дочечка, да откройся ты мне!

— Ах, мама! — нетерпеливо прервала ее Вера.

О. Игнатий сел на стул и засмеялся.

— Ну-с, так, значит, ничего? — иронически спросил он.

— Отец, — резко сказала Вера, приподнимаясь на постели, — ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку. Но... Ну, так, скучно мне немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда там — поговорим.

О. Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену, и взял жену за руку.

— Пойдем!

— Верочка...

— Пойдем, говорю тебе! — крикнул о. Игнатий. — Если уже она бога забыла, так мы-то!.. Что уже мы!

Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и, когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шепотом:

— У-у! Это ты, поп, сделал ее такой. У тебя переняла она эту манеру. Ты и ответишь. Ах я, несчастная...

И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенек и так спуская ногу, словно внизу была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть.

С этого дня о. Игнатий перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нее засорены. И, сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смех, попадая робела и терялась, не зная, что говорить и что делать.

Иногда Вера выходила гулять. Через неделю после разговора она вышла вечером, по обыкновению. Более

не видали ее живою, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал ее.

Хоронил ее сам о. Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти Веры ее хватил удар. У нее отнялись ноги, руки и язык, и она неподвижно лежала в полутемной комнате, пока рядом с нею, на колокольне, перезванивали колокола. Она слышала, как вышли все из церкви, как шли против их дома певчие, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась; хотела сказать: «Прощай, Вера!» — но язык лежал во рту громадный и тяжелый. И поза ее была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты.

В церкви на похоронах было много народу, знакомых о. Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели Веру, умершую такую ужасною смертью, и старались в движениях и голосе о. Игнатия найти признаки тяжелого горя. Они не любили о. Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время, завистливый и жадный, пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдающим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери: как жестокий отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть. И все пылливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя.

— Каляный поп! — сказал, кивая на него, столяр Карзенов, которому он не отдал пяти рублей за рамы.

И так, твердый и прямой, прошел о. Игнатий до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного; но это могло быть и оттого, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свету, он с трудом мог рассмотреть



лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился, что оно совсем спокойно и на глазах нет слез. И не было в глазах ни гнева, ни горя — они были немы и молчали тяжело, упорно, как и все тучное, бессильное тело, вдавившееся в перину.

— Ну что, как ты себя чувствуешь? — спросил о. Игнатий.

Но уста были немы; молчали и глаза. О. Игнатий положил руку на лоб: он был холодный и влажный, и Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука о. Игнатия была им снята, на него смотрели, не мигая, два серые глубокие глаза, казавшиеся почти черными от расширившихся зрачков, и в них не было ни печали, ни гнева.

— Ну, я пойду к себе, — сказал о. Игнатий, которому сделалось холодно и страшно.

Он прошел в гостиную, где все было чисто и прибрано, как всегда, и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта.

— Настасья! — крикнул о. Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тотчас после похорон дочери. — Настасья! — тише позвал он. — Где канарейка?

Кухарка, плакавшая так много, что нос у нее распух и стал красный, как свекла, грубо ответила:

— Известно где. Улетела.

— Зачем выпустила? — грозно нахмурил брови о. Игнатий.

Настасья расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала:

— Душенька... барышнина... Разве можно ее держать?

И о. Игнатию показалось, что желтенькая веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душою Веры и что если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла. И он еще больше рассердился на кухарку и крикнул:

— Вон! — и, когда Настасья не сразу попала в дверь, добавил: — Дура!

## II

Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят. Так думал о. Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги и ее портрет, большой, писанный красками портрет, который она привезла с собою из Петербурга. В рассматривании портрета у о. Игнатия установился известный порядок: сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мертвой щеке Веры и происхождения которой он не мог понять. И каждый раз он задумывался о причинах: если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой Веры была совсем невреждена.

Быть может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп, или нечаянно ногтем?

Но долго думать о подробностях Вериной смерти было страшно, и о. Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены в черную, траурную рамку. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева. И, как ни ставил портрет о. Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали; и молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатий стал думать, что он слышит молчание.

Каждое утро, после обедни, о. Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль, и слезы, и далекий, умерший смех. Молчание жены, смягченное стенами, было упорно, тяжело, как свинец, и страшно, так страшно, что в самый жаркий день о. Игнатию становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери. Словно самому себе было мучительно это молчание и страстно хотело перейти в слово, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало, как проволоку. И где-то, на далеком конце, проволока начинала колебаться и звенеть тихо, робко и жалобно. О. Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук и, опершись руками о ручки кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал.

— Глупости! — сердито говорил о. Игнатий и поднимался с кресел, все еще прямой и высокий.

В окно он видел залитую солнцем площадь, мощенную круглыми, ровными камнями, и напротив каменную стену длинного, без окон, сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего.

### III

Вне дома о. Игнатию приходилось говорить много: с причтом и с прихожанами, при исполнении треб и иногда с знакомыми, где он играл в преферанс; но, когда он возвращался домой, он думал, что он весь день молчал. Это происходило оттого, что ни с кем из людей о. Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь: отчего умерла Вера?

О. Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно. Каждую ночь, — а они все теперь стали у него бессонными, — представлял он себе ту минуту, когда он и попадья в глухую полночь стояли у кровати Веры, и он просил ее: «Скажи!» И когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было. Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, не тускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на своей постели, улыбается и говорит... Но что она говорит? И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить все, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадежно далеко. О. Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и, потрясая ими, просил:

— Вера!..

И ответом ему было молчание.

Однажды вечером о. Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья и, отвернувшись от упорного, тяжелого взгляда, сказал:

— Мать! Я хочу поговорить с тобою о Вере. Ты слышишь?

Глаза молчали, и о. Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися:

— Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной Вериней смерти. Но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты? Странно ты рассуждаешь... Я был строг, а разве это мешало ей делать, что она хочет? Я пренебрег достоинством отца, я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и поехала... туда. А ты — ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать? Разве я родил ее такой жестокой? Не твердил я ей о боге, о смирении, о любви?

О. Игнатий быстро взглянул в глаза жены — и отвернулся.

— Что я мог сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать — я приказывал; просить — я просил. Что же, по-твоему, я должен был стать на колени перед девчонкой и плакать, как старая баба? В голове... откуда я знаю, что у нее в голове! Жестокая, бессердечная дочь!

О. Игнатий ударил кулаком по колену.

— Любви у нее не было — вот что! Что уж про меня говорить, уж я, известно... тиран... Тебя-то она любила? Тебя-то, которая плакала... да унижалась?

О. Игнатий беззвучно рассмеялся.

— Лю-юбила! То-то в утешение тебе и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть. Умерла на песке, в грязи... как с-собака, которую ногами в морду тыкают.

Голос о. Игнатия зазвучал тихо и хрипло.

— Стыдно мне! На улицу выйти стыдно! Из алтаря выйти стыдно! Перед богом стыдно! Жестокая, недостойная дочь! В гробу проклясть бы тебя...

Когда о. Игнатий взглянул на жену, она была без чувств и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей о. Игнатий, или нет.

В ту же ночь, — это была июльская лунная ночь, тихая, теплая и беззвучная, — о. Игнатий на цыпочках, чтобы не услышали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошел в комнату Веры. Окно в мезонине не открывалось с самой смерти Веры, и воздух был сухой и жаркий, с легким запахом гари от накалившейся за день железной крыши. Чем-то нежилым и заброшенным веяло от помещения, в котором так давно отсутствовал человек и где дерево стен, мебель и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол и, отраженный от белых, тщательно вымытых досок, сумеречным полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. О. Игнатий открыл окно — и в комнату широкой струей влился

свежий воздух, пахнувший пылью, недалекой рекой и цветущей липой, и еле слышное донеслось хоровое пение: вероятно, катались в лодке и пели. Неслышно ступая босыми ногами, похожий на белый призрак, о. Игнатий подошел к пустой постели, подогнул колени и упал лицом вниз на подушки, обняв их, — туда, где должно было находиться Верино лицо. Он долго лежал так; песня стала громче и потом умолкла, а он все лежал, и длинные черные волосы рассыпались по плечам и постели.

Луна передвинулась, и в комнате стало темнее, когда о. Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго сдерживаемой и долго не признаваемой любви и вслушиваясь в свои слова так, как будто слушал не он, а Вера.

— Дочь моя, Вера! Ты понимаешь, что это значит: дочь? Доченька! Сердце мое, и кровь моя, и жизнь моя. Твой старый... старенький отец, уже седой, уже слабый...

Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, о. Игнатий шептал нежно, как маленькому ребенку:

— Старенький отец... просит тебя. Нет, Верочка, умоляет. Он плачет. Он никогда не плакал. Твое горе, деточка, твои страдания — они и мои. Больше, чем мои!

О. Игнатий покачал головой.

— Больше, Верочка. Ну что мне, старому, смерть? А ты... Ведь если бы ты знала, какая ты нежная, и слабая, и робкая! Помнишь, как ты проколола пальчик, и кровь капнула, и ты заплакала? Деточка моя! И ты ведь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи, скажи, о чем тоскует твоя головка, и я — вот этими руками — я удушю твое горе. Они еще сильны, Вера, эти руки.

Волосы о. Игнатия встряхнулись.

— Скажи!

О. Игнатий впился глазами в стену и протянул руки.

— Скажи!

В комнате было тихо, и из глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свисток паровоза.

О. Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним встал страшный призрак изуродованного трупа, медленно приподнялся с колен и неверным движением поднес к голове руку с растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступив к двери, о. Игнатий отрывисто шепнул:

— Скажи!

И ответом ему было молчание.

#### IV

На другой день, после раннего и одинокого обеда, о. Игнатий пошел на кладбище — в первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещенною ночью, но, по привычке, о. Игнатий старательно выпрямлял спину, сурово смотрел по сторонам и думал, что он все такой же, как прежде; он не замечал ни новой и страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на нее. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот, похожая на черный, вечно открытый рот, окаймленный блестящими зубами.

Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки, и о. Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломаной линией проходивших между зеленых бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, изломанные решетки и большие, тяжелые камни, вросшие в землю и с какой-то угрюмой, старческой злобой давившие ее. К одному из таких камней прижималась могила Веры. Она была покрыта новым, пожелтевшим дерном, но кругом

нее все зеленело. Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми, шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, о. Игнатий оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное, пустынное небо, где в полной неподвижности висел раскаленный солнечный диск, — и тут только ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, какая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшая листва. И снова о. Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там — в серых, упрямо и упорно молчащих глазах.

О. Игнатий передернул похолодевшими плечами и опустил глаза вниз, на могилу Веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванной с землею откуда-нибудь с широкого, обвеваемого ветром поля и не успевшей сродниться с чуждой почвой, — и не мог представить, что там, под этой травой, в двух аршинах от него, лежит Вера. И эта близость казалась непостижимой и вносила в душу смущение и странную тревогу. Та, о которой о. Игнатий привык думать, как о навеки исчезнувшей в темных глубинах бесконечного, была здесь возле... и трудно было понять, что ее все-таки нет и никогда не будет. И о. Игнатию чудилось, что, если он скажет какое-то слово, которое он почти ощущал на своих устах, или сделает какое-то движение, Вера выйдет из могилы и встанет, такая же высокая, красивая, какую была. И не только одна она встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своем торжественно-холодном молчании.

О. Игнатий снял широкополую черную шляпу, расправил волнистые волосы и шепотом сказал:

— Вера!

Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний, и, встав на могилу, о. Игнатий



взглянул поверх крестов. Никого не было, и он уже громко повторил:

— Вера!

Это был старый голос о. Игнатия, сухой и требовательный, и странно было, что с такою силою высказанное требование остается без ответа.

— Вера!

Громко и настойчиво звал голос, и, когда он умолкал, с минуту чудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И о. Игнатий, еще раз оглянувшись кругом, отстранил волосы от уха и прилег им к жесткому, колючему дерну.

— Вера, скажи!

И с ужасом почувствовал о. Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно-холодное и студит мозг и что Вера говорит — но говорит она все тем же долгим молчанием. Все тревожнее и страшнее становится оно, и когда о. Игнатий с усилием отдирает от земли голову, бледную, как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух дрожит и трепещет от гулкого молчания, словно на этом страшном море поднялась дикая буря. Молчание душит его; оно ледяными волнами перекачивается через его голову и шевелит волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую под ударами. Дрожа всем телом, бросая по сторонам острые и внезапные взгляды, о. Игнатий медленно поднимается и долгим, мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему телу. И это удается ему. С намеренной медлительностью о. Игнатий отряхивает колени, надевает шляпу, трижды крестит могилу и идет ровною, твердою поступью, но не узнает знакомого кладбища и теряет дорогу.

— Заблудился! — усмехается о. Игнатий и останавливается на разветвлении тропинок.

Но стоит он одну секунду и, не думая, сворачивает налево, потому что ждать и стоять нельзя. Молчание гонит. Оно поднимается от зеленых могил; им дышат угрюмые серые кресты; тонкими, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее

становятся шага о. Игнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же дорожкам, перескакивает могилы, натывается на решетки, цепляется руками за колючие жестяные венки, и рвется в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону мечется он и, наконец, бесшумно бежит, высокий и необыкновенный в развевающейся рясе и с плывущими по воздуху волосами. Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца, испугался бы всякий, встретив эту дикую фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека, увидев его перекосившееся безумное лицо, услышав глухой хрип, выходивший из его открытого рта.

Со всего разбегу о. Игнатий выскочил на площадку, в конце которой белела невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавке дремал старичок, по виду дальний богомолец, и возле него, наскაკивая друг на друга, спорили и бранились две старухи нищенки.

Когда о. Игнатий подходил к дому, уже темнело, и в комнате Ольги Степановны горел огонь. Не раздеваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный, о. Игнатий быстро прошел к жене и упал на колени.

— Мать... Оля... пожалей же меня! — рыдал он. — Я с ума схожу.

И он бился головой о край стола и рыдал бурно, мучительно, как человек, который никогда не плачет. И он поднял голову, уверенный, что сейчас свершится чудо и жена заговорит и пожалеет его.

— Родная!

Всем большим телом потянулся он к жене — и встретил взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления, ни гнева. Быть может, жена прощала и жалела его, но в глазах не было ни жалости, ни прощения. Они были немые и молчали.

И молчал весь темный опустевший дом.

*1—5 мая 1900 г.*

# Жизнь Василия Фивейского

## 1

Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался — и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстанавливал он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою.

И случилось это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий.

Молодая попадьа, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким, солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекачивается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадьа все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

— Вася! А Вася?

— Что, милая? — покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными

от земли, нестриженными ногтями опрavlял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая. — Что, милая? Может быть, чайку бы выпила — ты еще не пила?

— Вася, а Вася? — повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьей дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным, рассеянным шагам матери, исподлобья, с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий, — и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучее воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же, о тихоньком черненьком мальчике, который жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески-разумная речь. «Вася, — говорю я ему, — Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки

разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой.

Когда о. Василий в первый раз увидал пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, — он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные: ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадьа заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые, живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны зыбились на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары, — и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза вверх — они были маленькие, ввалившиеся, черные, как

уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень, — приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не подались сомкнутые железные челюсти: скрипнув зубами, поп с силою развел их, — и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

— Я — верю.

Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

— Я — верю.

А вернувшись домой, снова хворостинка за хворостинкой принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

## 2

О. Василия не любил никто — ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмехались. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздновавшиеся 28 ноября, он приглашал к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласием, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

— Никто и идти к нам не хочет, — говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валившие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирыч Копров; он открыто презирал неудачника и, после того как стали известны селу страшные запои попады, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон тщетно убеждал его:

— Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирыч упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

— Нестóящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирыч насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал не нравившуюся речь:

— Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

— Ну, погоди: задаст тебе ужотка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

— Посмотрим.

— Посмотрим.

И они поспорили на четверть вишневки, выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирыч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожа-



ловаться на о. Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирыч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми, выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

— Да и та была старая! — самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги — шаги человека, которому стыдно и страшно, — и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, — эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не

мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика — и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на Воздвижение попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

— Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

— Господи, за что? Господи! — тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприятный, как на дворе.

— Что ж с ними поделаешь, Настенька! — оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. — Терпеть надо.

— Господи! Господи! И защитить некому! — плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти.

К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его — воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сторая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания — и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бесильно шептал:

— Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

— Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжело и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия.

Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами — багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.

— Не хочешь? Не хочешь? — кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. — Не хочешь? Так вот же перед богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, — в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадья он, целомудренный и стыдливый, отвечал такую же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень — и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стопа. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприют-

ности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.

— Я — верю, — сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

3

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишай и не поддавались лечению, — но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем счастье, и все эти неприятности казались ей платой за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболует Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою,

какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожную походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, — и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На Крещение, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя — над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали что приказывают и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывали та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Насти, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались — и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытаращенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже ум-

рет — и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити, опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах, выростал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полурейбенка, полужверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на постилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его — жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадьа. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полурейбенка, полужверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первен-



це, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, — когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

— Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

— Стулья отодвинь! — запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

— Слышишь? Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

— Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

— Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

— Да, видел. Спит.

— А кто же говорит там?

— Никого там нет. Это послышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шуточно покачивала головой и неопределенно отмахивалась — как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, — отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она обращивалась к мужу — в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе — на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

— Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадья. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

— Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

— Нет.

— Ага! — обрадовалась попадья. — Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

— Нет.

— А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

— Так. Нездоров.

Попадья сердито засмеялась.

— Ты? Нездоров? Это ты нездоров? — Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. — Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:

— У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

— А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

— Что знаешь?

— Знаю, о чем ты думаешь. Ты... — Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. — Ты... в бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:

— Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в бога.

И опять молчание, опять тишина, — но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода. И, потупив глаза, она стыдливо просила:

— Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света и людских громких голосов.

— Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

— Поздно. Она уже спит.

Попадья топнула ногой.

— Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча садились они играть в веселую и смешную игру — в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила. И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздвогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола — два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске — два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и

снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый, появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

— Кто тут? — вскрикивала попадьа и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.

— Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

— А он?

— Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

— Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

— Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

— Неправда, — сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ошупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

— Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

— Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.

## 5

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал,пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинаящейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

— Загордели, батюшка! Кланяться не хотите, — насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

— Извините, Иван Порфирыч: не заметил.

Староста строго, сверху вниз, хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

— Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерил глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о старостиних добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал — думал о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше: он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду — ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полуслове перебивая ее, он спросил:

— А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное — на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор — серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос.

И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой — печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди — подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

— А дети у тебя есть? — быстро спросил он, снова перебивая старуху.

— Умерли, батюшка.

— Все умерли? — удивился поп.

— Все умерли, — повторила женщина, и глаза ее покраснели.

— Как же ты живешь? — с недоумением спросил о. Василий.

— Какая же наша жизнь, — заплакала старуха. — Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

— Ну, ступай, — прозвучал над нею суровый голос.

...Странные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, — а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества, — но вместе с ним скрылось и солн-



це, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица; и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в Рождественском посту бывало немного, но каждого из них подержал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливого, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом — эту огромную правду о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавильсь на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед Рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сених его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

— Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадья, и остановился.

— Я уж час жду тебя. Замерзла вся! — Она лякнула зубами от внезапной дрожи.

— Что случилось? Пойдем.

— Нет! Нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он...

— Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивлявшуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела: Настя стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению — и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности или ей пригрезилось.

— Позови Настю и уходи сама, — приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назади, как он.

— Настя! Зачем ты делаешь это? — сурово, но спокойно спросил о. Василий.

— Что?

— Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

— Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

— Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

— Не знаю, — ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила:

— Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

— А вам не нравится? — полуутвердительно спросила Настя.

— Нет.

— А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

— Ступай! — резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.

— А обо мне вы не думаете, — сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

— Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

— Нет.

— Пойди и поцелуй меня.

— Не хочу.

— Ты меня не любишь?

— Нет. Я никого не люблю.

— Как и я! — И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

— А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

— А меня?

— Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын — дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

— Скучно, Настя! — задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

— Конечно, скучно.

— А богу ты молишься?

— Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай — сами знаете, сколько дела.

— Как горничная, — неопределенно сказал о. Василий.

— Что вы? — не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

— Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой — раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

— Обнимай за шею. Я отнесу тебя.

— Что вы! Я ведь большая.

— Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, слышалось ей или отец действительно прошептал:

— Жалей маму.

Но, уже помолившись богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими

глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

— А я бы ее все-таки убила.

Позднею ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмысленные глаза, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства, — пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

## 6

Пришел Великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольни в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более

настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли — бесконечно повторяли — глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили — глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду. Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.

— А я тебя давно поджидаю, — сказал, усмехаясь, поп. — Зачем пришел, Мосягин?

— Исповедаться, — быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

— Что же, легче станет, когда исповедаешься? — продолжал поп и усмеялся весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:

— Известно, легче.

— А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:

— Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа — точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обвинялось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству — и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому — он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле — и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутлив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все

волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на Петровки, дал ему скоромного пирога, и он съел, — и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, — и об этом он говорил долго и мучительно.

— Кончил! — весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

— А кто помогает тебе?

— Кто помогает-то? — повторил Мосягин. — Да никто не помогает. Скучно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог, — мужик осторожно подмигнул попу, — дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

— А бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

— Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно; он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много, должно, сахара ест». И вздохнул.

— Чего ты ждешь?

— Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темнело, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

— Так, значит, и будет? — спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.



— Так, значит, и будет. Так, значит, и будет, — повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голые лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами — и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознаваемым движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла она, как осенняя паутинка. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

— А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное.

— Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

— Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что я могу сделать? — Он ткнул пальцем себе в грудь. — Что я могу сделать? Что я — бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

— Становись на колени.

Мосягин встал.

— Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных

движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал:

— Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все

выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать — ждать нетерпеливо, ждать грозно.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб, и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему — его зовут. Все чаще, с сдержанным гневом, он говорил:

— Его проси! Его проси!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним — и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадией случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый — в субботу вечером — потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадия: она плакала и просила прощения; руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, и потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил; рассказал что-то

очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

— Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недоброе и неправдивое, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

— Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

— Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас, — ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

— Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной мосолыжкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед — и страшны были они своею кротостью. И такие глаза были

у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, — тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала:

— Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет ходить — загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени, бесшумною толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

— А-а-а! — длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натываясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натываясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы — первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

— Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

— Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо

его иступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

— Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и иступленно:

— И ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колена, билась в истерике попадьа и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

— Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот; прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда, — холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьей, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, — но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на сча-

стье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала со своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

7

Все так же однозвучно и уныло вызванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собиралось их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями, и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самый воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным,

разрознённым движением валились на колени, вздыхали и с неумолимою настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи, — ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он захлебывался ею, этою беспощадною правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское — и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи».

Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

— Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова, как испуганный, повторял он страшные и беспощадные слова:

— Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди, становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и



нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полуребенка, полужверя.

И в церковь, по утрам, он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бес сильного служителя всемогущего бога, — и было палачей столько, сколько людей, и было кнотов столько, сколько доверчивых и ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиною. Все дикое и злое родится за спиною человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров.

Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто щелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным богу человеком и знает, что без него богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, с начала поста, он сердился на о. Василия, что тот так долго исповедует: он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

— Ты думаешь, они это оценят? — говорил он благодушному дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой великопостной работой. — Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель ка-

зался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приготавливался к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на Страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, сваявшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной ясностью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

— Ступай! Бог отпустит твои грехи, — сказал он.

— Погоди. Еще скажу, — прохрипел нищий, задирая вверх побагровевшее лицо.